

КОНСТАНТИН МАСАЛЬСКИЙ

РЕГЕНСТВО БИРОНА.

ОСАДА УГЛИЧА.

РУССКИЙ ИКАР

(СБОРНИК)

История в романах

Константин Масальский

**Регенство Бирона. Осада
Углича. Русский Икар (сборник)**

«Public Domain»

1834, 1841, 1833

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Масальский К. П.

Регентство Бирона. Осада Углича. Русский Икар (сборник)
/ К. П. Масальский — «Public Domain», 1834, 1841,
1833 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03726-9

Константин Петрович Масальский (1802–1861) – популярный русский писатель середины XIX века. В 1821 году окончил дворянский пансион при Петербургском университете; служил в министерствах внутренних и иностранных дел. Напечатал в журналах и выпустил отдельно множество романов, повестей и пьес, главным образом исторических. Кроме того, он написал несколько исторических работ, а также впервые перевел с подлинника «Дон Кихота» Сервантеса. Масальский не обладал крупным литературным дарованием, но живость и внешняя занимательность его произведений, в которых часто присутствует почти детективная интрига, создали им успех в 30–40-х годах XIX века. В данный том включены три исторических произведения Масальского. В повести «Регентство Бирона» ярко передан кратковременный, но значимый для русской истории эпизод борьбы за право наследования престола цесаревной Елизаветой, воцарением своим прекратившей десятилетие немецкого засилья. В повести «Осада Углича» рассказывается о неудачной попытке поляков захватить русский город Углич в период Смутного времени. Повесть «Русский Икар» – история о том, как простой русский мужик Емельян Иванов мастерил крылья, чтобы «летать по-журавлиному».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03726-9

© Масальский К. П., 1834, 1841, 1833

© Public Domain, 1834, 1841, 1833

Содержание

Регентство Бирона	7
I	7
II	9
III	11
IV	15
V	18
VI	25
VII	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Константин Петрович Масальский
Регентство Бирона. Осада
Углича. Русский Икар

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

Регентство Бирона

I

На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах петербургских домов погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собой промокший зонтик, спешил к дому и робко посматривал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесях разлитое сияние свеч беспрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату торопливо ходили люди. Это было 17 октября 1740 года.

В слабо освещенной зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитанн Ханыков шепотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием временами глядели на дверь спальни.

Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.

– Все кончено! – сказал он прерывающимся голосом. – Императрица скончалась!

Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.

Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, фрейлины тихо пронесли через залу в ее комнаты. За нею следовал супруг.

Когда ее привели в чувство, она возвратилась в залу и, бросившись в кресло, начала горько плакать. Напрасно принц, стоя позади кресел и наклонясь к своей супруге, старался утешить и умерить ее горесть.

Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведенного милостью умершей царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подле него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке князь держал какую-то бумагу, другой по временам утирал слезы, наvertывавшиеся на его глаза.

– Кто в зале? – вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.

Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, вновь приблизился к Бирону и назвал бывших в зале по именам.

– Подойдем к ним! – продолжал герцог, вставая. – Не теряя времени, объявим последнюю волю императрицы.

Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошел от кресла, в котором сидела его супруга.

Властолюбивому Бирону во время тяжелой и продолжительной болезни императрицы неотступными просьбами нетрудно было убедить ее подписать акт о назначении его правителем государства на время малолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Брауншвейгского.

Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:

– Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю ее величества?

Принц, внутренне оскорбленный вопросом наглого властолюбца, скрыл, однако, свои чувства и, отойдя от своей супруги, со спокойствием на лице приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.

На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содержание его двора. Бирон, по воле которого сделаны были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, привыкших к милосердию и кротости, к этим наследственным добродетелям их венценосцев, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался их полновластным правителем, что еще семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.

II

Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту встретились два человека в темно-зеленых широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головой.

– Нет ли чего нового? – спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.

– Ничего важного не случилось, – отвечал на том же языке низкопоклонный. – Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме на Красной улице и что потом ее высочество цесаревна Елиз...

– Т-с! Тише! Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идет. Ну а не разведал ты еще ничего об его друге, поручике?

– Он заодно с капитаном, в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится феодосьевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.

– Право? Это недурно! А где он живет?

– Вон его дом.

Он указал на деревянный дом, уединенно стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского института.

– Еще узнал я, что отец поручика довольно богат.

– И это недурно. Мы можем и его припутать к делу. Можно ли уличить его в том, что он держится раскола?

– Уличить мудрено. Он во всем запрется. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.

– Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?

– Какой безграмотный! С утра до вечера все сидит за своими писаными книгами.

– Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение от феодосьевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу в доказательство того, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!

– Бесподобно вы придумать изволили!

– То-то же! Потом я скажу ему, что должен буду доложить об его ослушании герцогу и что он будет сожжен, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.

– А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?

– Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны от его имения? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много еще их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плашки, и если бы всех их вдруг зажечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!

Довольный своею глупою остротой, он засмеялся.

– Иллюминация! Истинно иллюминация! – подхватил низкопоклонный с принужденным хохотом. – Однако я все еще не понимаю вашего намерения.

– Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и не русский.

– Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.

– Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рублевиков.

– А, теперь все ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречения от ереси.

– Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему на пользу. Он, верно, и сам сделается умнее, и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же пригото-

вить бумагу. Да смотри, никому ни слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то берегись!.. Я искусный охотник, а ты собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.

Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.

– Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение, – продолжал низкопоклонный, – то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.

– Ничуть! Подписанное отречение послужит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу о нем герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.

– Совершенная правда.

– О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом на Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромн и осторожен. Ты сам знаешь, как важно это дело!

Сказав еще что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.

III

На берегу Фонтанки... но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесемся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу Фонтанной речки.

У ее истока из Невы никакого моста тогда еще не было. По берегам, в некоторых местах укрепленных сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Напротив Летнего дворца, от Невы до церкви Св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место, заваленное бревнами и огороженное забором. Тут находилась партикулярная верфь, где строили мелкие суда для Невского флота¹.

Подле этой верфи находилась каменная церковь Св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования императрицы Анны Иоанновны, вместо деревянной, которую воздвиг Петр Великий в память победы, одержанной им над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.

Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четырехугольное строение, где хранились разные запасы для двора, отчего оно и называлось Запасным двором.

Церковь Св. Симеона и Анны существовала уже в те времена. Ее построила императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил Петр Великий в 1712 году во имя ангела четырехлетней дочери его, цесаревны Анны Петровны.

Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окруженный рощей, которая граничила с Итальянским садом, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил свое название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянском вкусе близ Фонтанки.

У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после ее коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого монастыря, несколько загородных домов, построенных при императрице Анне Иоанновне фельдмаршалом Минихом, светлицы Семеновского и Измайловского полков и, наконец, посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казенном доме церковь Св. Екатерины, построенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.

Теперь перейдем из Калинкиной деревни по узкому мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейских и морских служителей, потом охотный ряд, где продавали певчих и других птиц; войдем в Аничкову слободу, где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом, мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к ягд-гартену (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гона и стрельбы оленей, кабанов и зайцев на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, окружающие его. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим Слоновый двор, устроенный в 1736 году для приведенного из Персии слона; церковь Св. Троицы, впоследствии перенесенную на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.

Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.

На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашева. Федор Власыч (так его называли) был в свое время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огром-

¹ При Петре Великом все достаточные жители Петербурга обязаны были в воскресные дни плавать на этих судах по Неве под командой неевского адмирала.

ный садок по собственному плану, во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона, в-третьих, еще со времен Петра Великого брил бороду и одевался по-немецки и, в-четвертых, страстно любил книгу. Много перенес он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенес с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.

Вместе с Мурашевым жили сестра его, Дарья Власьевна, и дочь Ольга. Первая еще при Петре Великом на ассамблеях ратовала в рядах невест и наводила «сильную кокетства батарею»² на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравниться с Дарьей Власьевной в тайной ненависти к Бирону, которого она не без основания считала главным виновником прекращения всех главных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания ее батарею. От горести и отчаяния Дарья Власьевна перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?», Дарья Власьевна всегда притворялась тугой на ухо или рассеянной и заводила речь совсем о другом. Единственным ее утешением сделались наряды, в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, бока которой они украшали. Всякая знатная дама считала тогда своей обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлышком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелем о рангах, начиная от 1-го до 14-го класса, фижмы суживались, и у жен купцов и других нечиновных лиц среднего класса заменялись обручниками, которые нередко, по благоразумной, хозяйственной бережливости, снимались с разошедшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить обручники и пользовались только правом с удивлением смотреть на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтоб узнать внутреннюю сущность этих возвышений.

Дарья Власьевна, по званию сестры придворного поставщика рыбы, перешла неприметно от обручиков к маленьким фижмам. Видя, что никто ее в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом, фижмы ее, как растение, как два цветка, неприметно росли и достигли величины, которая составляла нечто между фижмами коллежских секретарш и титулярных советниц. Не покидая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14-го до 4-го класса включительно, чтобы быть готовой тотчас одеться по чину будущего мужа, который, по ее расчетам, мог быть и штатский действительный советник (как тогда говорили). Любимое времяпрепровождение Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запершись в своей комнате, поочередно примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев наконец генеральские, повертывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распутивший хвост, танцевала минуэт, пробовала садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперед по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы и смотрят на нее, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на нее метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бедная Дарья Власьевна не спала целую ночь и все мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы ее скло-

² Стих Панкратия Сумарокова.

нялись то в ту, то в другую сторону и долго бы остались в движении, если бы сваха не принесла наконец верного известия, что сообщенный слух о женихах вышел пустой.

Дочь Мурашева, Ольга, была премилое существо. Умная, добрая, скромная, она никогда не пользовалась правом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил ее без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал ее прекрасного стана. Мурашев, сам плохо знавший грамоту, передал ей все свои познания и через год после начала курса наук принужден был прекратить учение, потому что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупик самого учителя. Однажды Мурашев выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было еще в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русской гражданской печатью в Петербурге в 1725 году под заглавием «Приклады как пишутся комплименты разные» и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения «Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведенные». Последнее сочинение при Бироне считалось запрещенным. Впоследствии переводчик поднес его императрице Елизавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! Когда бы мне возыметь сие обрадование, чтоб, по крайней мере, сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатанной увидеть». Мурашев, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из «Советов премудрости» наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя начальствует в своем доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов женский гнев – настрашнейший и прековарнейший в вымышлении изменительств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены или способы к избавлению и спасению себя от них бегом изысканы быть могут, но росерчание взбесившейся жены неизбежно есть. Ты не можешь ни укротить ее, ни усмирить, да ниже и отбыть от нее. Ее бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на нее жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему отвечают».

– Сущая истина! – сказал Мурашев со вздохом. – Из всех гневов женский гнев есть настрашнейший! Да!.. Так, кажется, сказано? Одно средство против него: упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти еще что-нибудь.

Он раскрыл в тетради другую страницу. Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твое сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся ее приближения и приветливого приема, бойся ее разговора, ее глядения и ее осязания. Что в другом за ничто признается, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел ее прежде побежания, то не убежишь уже от нее далеко. Обещаемые ею тебе вещи имеют на ее языке крайне бедственное обаяние. С самой той минуты, в которую ее увидишь, начинаешь ты бояться и о весьма скором времени твоего заплакания извещаться».

– Ну уж книга! – воскликнула Дарья Власьевна. – Да не с ума ли ты сошел, братец? Еще дочери даешь читать такие соблазны.

– Полно, сестра! – возразил Мурашев. – Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе все растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщина – ты этого на свой счет не бери – а вообще особа женского пола. Вот тут и пишется, что «довольно одного глазом ее мигнутия к повалению тебя», то есть она – не успеешь мигнуть – даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что «бойся обещаемых ею тебе вещей и ее осязания», – помнится так-то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!

– Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!

– В печь? Да кто тебе даст? «Советы премудрости» хочет бросить в печь! Ах ты, безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.

Начался между братом и сестрой жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу защитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок и что в книге дается наставление остерегаться этого порока.

– Ну вот, вот! то и есть! – воскликнул с радостью Мурашев. – Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь тоже толковал! Что же тут худого? Племянница-то, я вижу, умнее тетушки.

– Скажи: и батюшки! – обиделась Дарья Власьева. – Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.

Мурашев хотел возразить, но не нашелся, лишь проворчал сквозь зубы: «Дура!» – и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».

«Сумасшедший! – подумала Дарья Власьева. – Совсем с ума спятил от своих премудростей!»

– Тетенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? – спросила вдруг Ольга.

Этот вопрос имел силу громоотвода. Без него сбылось бы сказанное в «Слове о полку Игоревом»: «Быть грому великому!»

IV

В день провозглашения Бирона регентом государства пришли под вечер в гости к Мурашеву капитан Семеновского полка Ханыков с молодым поручиком Аргамаковым, который был страстно влюблен в Ольгу.

– Что так давно не бывали у меня, дорогие гости? – говорил Мурашев, усаживая офицеров на кожаный диван.

– Не до того было! – отвечал Ханыков.

– Да, да, Павел Антонович! Истинно, не до того! – продолжал хозяин шепотом. – С позволения вашего, я сегодня с заутрени до вечерни все плакал да охал.

– Скоро и все заохаем! – заметил Аргамаков.

– Однако же, брат, прежде за дверь посмотри, а потом говори, – сказал Ханыков. – Подслушают, так и впрямь заохашь.

– Никого дома нет, Павел Антонович. Сестра и дочка ушли в церковь, приказчиков я разослал осматривать мои невские садки, дворник сидит в своей будке на дворе. Домовой, разве, с позволения вашего, нас подслушает!.. И все же не мешает за дверь заглянуть.

Удостоверясь, что в соседней комнате никого не было, хозяин продолжал:

– Правда ли, мои батюшки, что Бирон будет царством править? Слышал я и объявление, да все как-то не верится. Что за напасть такая?

– Уж нечего говорить! Времена! – сказал Ханыков.

– Выходит, что Бирон до сих пор сидел с удой да ловил рыбу: попадались маленькие, иногда и большие, но все поодиночке, а нынче – с позволения вашего – он запустил невод и всех нас, грешных, и маленьких и больших, поймал! Нечего делать! Теперь мы все в его садке. Всякий сиди да жди, когда потащат на сковороду!

– Да еще молчи при этом, как рыба! – прибавил Аргамаков.

– Шука нечестивая! Кит проклятый! – воскликнул Мурашев, ходя от волнения по комнате. – Из какого омута и каким ветром его к нам занесло! Жили мы без него в разделе, как белуга в Волге. Вспомнишь, право, как мы, грешные, живали при царе Петре Алексеевиче или при супруге его Екатерине Алексеевне. Сердце радуется! А с тех пор как завелся этот иноземец Бирон – чтоб ему, с позволения вашего, щучьей костью подавиться! – все идет вверх ногами. Что вы? Что вы? Не бойтесь! Это сестра моя идет, – продолжал он, подбежав в испуге к окошку и смотря на двор. – Чего вы испугались? Я уж по стуку услышал, что это она.

Вскоре вошли в комнату сестра и дочь Мурашева.

При появлении Ольги у Аргамакова сильно забилося сердце от радости, как будто он не видел ее уже несколько лет, а между тем они виделись не далее как накануне. Дарья Власьева, жеманно поклонясь гостям, села на софу, с которой те встали, и начала махать на себя веером.

– Ну что, сестра, много народу было в церкви? – спросил Мурашев.

– Не слишком много. Все больше простой народ. Только одну какую-то госпожу я заметила. Должно быть, знатная: большие фижмы и шлейф очень-таки длинный. Трое несли!

– Ну дай Бог ей здоровья! – сказал Мурашев, которому повседневные разговоры сестры о знатных давно уже надоели. – Шлейф! – продолжал он, усмехнувшись. – А что такое, с позволения вашего, шлейф, и для чего он волочится? Как смотрю я на него, меня всегда берет охота запеть:

Шука шла из Новгорода.

Она хвост волокла из Бела-озера.

Рыбе хвост помогает плавать, а шлейф людям только мешает ходить. Иной словно невод: так и хочется запустить его в воду!

Ханыков улыбнулся, а Аргамаков разговаривал в это время с Ольгой, и оба ничего не слышали.

– При выходе из церкви, – продолжала Дарья Власьевна, – попалась мне знакомая и проводила меня почти до дому. Что она мне порассказала – это ужас!

– А что такое? – спросил Мурашев.

– Она слышала от верного человека, который служит двадцать лет уж при дворе и которому все важные дела известны, что правитель замышляет такие новости! Это ужас! Если он так будет поступать, то не долго усидит на своем месте.

– Вот тебе на! – воскликнул Мурашев, взглянув на Ханькова. – Извольте прослушать, как нынче бабы рассуждают. Сестра, извольте видеть, не бывала еще в Тайной канцелярии! Ей очень туда хочется.

– Я надеюсь, что здесь нет лазутчиков, братец! – возразила, обидясь, Дарья Власьевна. – Я без тебя знаю, где и что сказать.

При этих словах все невольно посмотрели друг на друга недоверчиво.

– Так! – прошептал Мурашев. – Только все-таки советую тебе быть поосторожнее.

– Что же вы слышали? – спросил Ханьков.

– Вообразите! Бирон хочет... нет! Не могу выговорить!.. Что ему за дело до наших мод! И того не носи, и другого не носи! Что это за притеснение!

– Да что с тобой сделалось, сестра! – сказал Мурашев. – Ты из себя выходишь. Если бы и в самом деле герцог приказал обрезать шлейфы, например, многие бы ему спасибо сказали, особенно те труженики, которые целый день за их господами эти хвосты таскают.

– Шлейфы носят только за самыми знатными господами, а все прочие дамы, даже генеральши, завертывают шлейф, как и я, на левую руку. Не о них и речь.

– Так о чем же? – продолжал Мурашев. – Уж не о фижмах ли, которые тебя чуть с ума не сводят?

– Да, сударь, о фижмах, именно о фижмах, от которых никто еще с ума не сходил. Я знаю, что тебе и горя мало, хоть бы мучной куль велели носить родной сестре твоей вместо приличного наряда! Конечно, не до тебя дело касается, так ты и спокоен!

– Я стал бы носить что угодно. От того не сделался бы ни глупее, ни умнее. В «Советах премудрости» сказано, что...

– Ну!.. заговорил о своих премудростях, конца не будет!

– Пожалуй, я и замолчу, только скажу тебе, что за один совет премудрости я охотно отдал бы все фижмы на свете, да еще осетра средней величины в придачу!

– Ну так порадуйся: скоро фижм нигде не увидишь! Большие будет носить одна герцогиня, генеральшам позволят надевать маленькие, а уж бригадирша изволь-ка наряжаться как наша кухарка, без фижм! Может ли быть что-нибудь глупее и обиднее?

– Этого быть не может, сударыня! – сказал Ханьков. – Верно, знакомая ваша пошутила. Теперь герцогу не до фижм!

– Так вы полагаете, что этот слух пустой?

– Кажется.

– Пустой или нет, все равно, – прервал Мурашев. – А поужинать, во всяком случае, не мешает. Уже девять часов.

В это время вошел в комнату дворник и сказал, что какой-то человек у ворот спрашивает Аргамакова. Все, бывшие в комнате, кроме Дарьи Власьевны, душа которой была погружена в фижмы, почувствовали от слов дворника неопределенный испуг. Мудрено сказать: произошло ли это от свойства сердца, которое может иногда предчувствовать близкое несчастье, или же от

тогдашних времен, когда никто не мог считать себя ни на минуту в безопасности от доносов, пыток и гибели.

Аргаматов вышел к воротам и, вскоре возвратясь в комнату, сказал Ханыкову несколько слов на ухо. Тот вскочил со стула. Мурашев заметил это и, взяв его за руку, подвел к окну.

– Верно, недобрые вести? – спросил он шепотом.

– Не совсем хорошие! – также шепотом отвечал капитан. – Денщик Валериана Ильича прибежал сюда опрометью. Какие-то люди забрали все бумаги в комнатах его барина и в моих. Он подслушал, как они расспрашивали моего денщика: куда я с Валерианом Ильичом ушел. Они идут сюда.

– Господи Боже мой! Что ж мы будем делать?

– Делать нечего! От Бирона и на дне морском не спрячешься.

Мурашев большими шагами прошел несколько раз взад и вперед по комнате.

– Знаете ли, что я придумал? Спрячьтесь в мой садок. Я спущу тотчас же всех моих собак. Они привыкли от воров рыбу стеречь и даже самого Бирона со свитой на садок не пустят.

– Вы себя погубите вместе с нами!

– Совсем нет. Я скажу только, что вы у меня были и ушли, а собак спустил я на ночь, как всегда это делаю. Пусть же допрашивают и пытаются моих собак, как они осмелились не пропускать на садок лазутчиков Бирона. Притом, вероятно, этим господам и в голову не придет там вас отыскивать, а вы, по крайней мере, успеете обдумать, что вам делать. Кажется, всего лучше как-нибудь пробраться до Кронштадта, откупить местечко на иностранном корабле, да и с Богом, за море! Ведь хуже на тот свет отправиться!

– На это нужны деньги, а со мной только два рублевика, – сказал Ханыков.

– У меня и того нет, – прибавил Валериан.

– Я вам дам займы. Червонец пятьдесят будет довольно?

Ханыков пожал руку Мурашеву, а у Валериана навернулись на глаза слезы. Это пожатие и эти чуть заметные слезы выразили сильнее их благодарность, нежели все возможные слова. Хозяин немедленно вынес из другой комнаты кошелек и незаметно передал Валериану.

Во все время, как они шептались, Ольга, отошедшая от окна и севшая на софу подле тетки, смотрела с беспокойством на своего отца, на Валериана и его друга.

Когда они все трое пошли из комнаты, Дарья Власьева, все еще углубленная в прежние свои размышления, спросила Ханыкова, который прощался с нею:

– Итак, вы полагаете, что слух насчет фижм неоснователен?

– Я вижу, сестра, что в пустой фижме более мозгу, чем у тебя в голове! – проворчал в досаде Мурашев. – Пойдемте, господа!

Валериан, выходя из комнаты, со вздохом взглянул на Ольгу, и взор его, казалось, говорил ей: «Прости навсегда!»

V

Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок вместе с денщиком и Мурашевым, за которыми бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они поочередно подбегали к офицерам и, тихонько ворча, смотрели на них недоверчиво.

– Цыц! Молчать! – закричал хозяин. – Это свои!

Собаки подбежали к Мурашеву, ласкаясь. Он ввел офицеров и денщика в каюту, поднял за кольцо дверь, сделанную в полу, и указал им на веревочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка.

– У кормы, – сказал он, – найдете окошко, через которое легко будет в случае нужды перелезть в одну из лодок, привязанных к садку. Прощайте! Да сохранит вас Господь!

Выйдя из каюты, он ласково погладил собак. Они проводили его до перил, и, когда он запер решетчатые дверцы мостика, по которому входили с берега на садок, Руслан, просунув морду сквозь перила, лизал у Мурашева руку, а Мохнатка и Полкан, положив передние лапы на перила, глядели в глаза хозяину и махали хвостом.

Валериан и друг его вскоре отыскали окно, о котором говорил Мурашев. Оно было так узко, что человеку с трудом можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, при наступившей вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоявших рядом и привязанных у кормы. Можно было прямо из окна спуститься в одну из них. Вскоре они услышали, как Мурашев захлопнул калитку.

Потом все замолчало, кроме воды, которая, тихо колыхаясь, как будто нашептывала садку донос на спрятавшихся офицеров.

Через некоторое время собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на их громкий лай, скрывшимся в садке было слышно, как кто-то стучался в калитку.

– Это, вероятно, посланные за нами! – воскликнул Аргамаков.

– Не воспользоваться ли тем временем, пока они будут обыскивать дом? Перелезем в лодку и поплывем к Неве, потом пустимся прямо в Кронштадт, – сказал Ханыков.

– А если нас заметят?

– Но и оставаться нам здесь не менее опасно: нас легко отыщут. Решимся! Что будет, то будет!

Денщик надел найденный им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел ее и отвязал. Лай собак между тем усилился.

– Все готово, барин! – сказал денщик, всунув в окно голову.

Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев денщику накрыть их рогожею, поплыли к Неве.

– Думали ли мы, Валериан, сегодня, – сказал Ханыков, – что проведем ночь на такой плавающей постели и под таким одеялом? Мы теперь похожи на двух пойманных лососей. Я думаю, много их, бедняжек, под эту рогожею страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего: у нас еще остается надежда на спасение, а у них не могло оставаться никакой.

– Удивляюсь, как ты можешь сейчас шутить! – сказал Валериан.

– А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? – возразил Ханыков. – Я давно уверился, что мое хладнокровие гораздо полезнее твоей чувствительности. Люди пылкие, похожие на тебя, почти каждый день смотрят на мир разными глазами: он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в Неву, когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, и сколько раз залетал ты за облака от восторга, когда примечал какой-нибудь ласковый ее взгляд, какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на

него, лежа на дне лодки, сквозь прореху в рогоже. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ничего нового и особенного я не вижу, потому что вечер претемный, на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она, очень некстати, выползает из-за облака: нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик! Далеко ли еще до Невы?

– Уже недалеко, ваше благородие!

– Гребите сильнее! – сказал Аргамаков.

Между тем секретарь Бирона Гейер (служивший в молодых годах форейтором в то время, как дед Бирона был главным конюхом герцога Курляндского Якова III) с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашева, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашева сильно забилось сердце; он не знал, что Валериан и друг его в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повел он незваных гостей на садок. Когда он подошел к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему.

– Усь! Чужие! – шепнул Мурашев, и собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гейера и его подчиненных, что все они, струсив, остановились, и секретарь герцога закричал:

– Не отпирай! Не отпирай! Прежде уведи собак или привяжи их.

– Осмелюсь доложить вашей милости, что они и меня загрызут. Мне с ними не сладить. Они одного моего приказчика слушаются, да, на беду, его теперь дома нет.

– Ты еще рассуждать смеешь! – закричал Гейер, топнув. – Именем его высочества правителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтен оскорблением его высочества.

– Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти и потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не буду. И в одной письменной книге, с позволения вашего, написано, что великий князь Святослав изволил сказать: мертвые бо срама не имеют, то есть ни за что не отвечают.

– Свяжите его и ведите за мной! – закричал Гейер. – Завтра же донесу о тебе его высочеству как о бунтовщике и ослушнике.

Мурашева связали. Гейер, приказав одному из лазутчиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг при свете месяца увидел несколько человек, которые к нему приближались.

– Ба! Это, кажется, наши! – сказал он. – Они ведут трех связанных. Браво! Гуси пойманы.

Валериана, друга его и денщика вели шесть лазутчиков, одетых в платье гребцов. Мурашев побледнел и устремил на офицеров взор, в котором выражалось глубокое сострадание.

– Где вы нашли их? – спросил Гейер.

– По приказанию вашему, – отвечал один из лазутчиков, – мы дожидались вас на катере у неевского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывшую на Неву с Фонтанки, мы начали за нею наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер привстал со дна лодки и опять скрылся. Тотчас же пустились мы в погоню. Этот господин, – продолжал он, указывая на поручика, – схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили.

– Отдайте ваши шпаги! – сказал Гейер.

– Возьмите сами, – отвечал Ханьков. – У меня руки связаны, как видите.

– Я никому своей не отдам, кроме командира! – вскричал Валериан.

– Полно, братец, понапрасну горячиться! – шепнул его друг. – Чем более будешь оказывать сопротивления, тем будет для нас хуже.

Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров.

– Обыщи их карманы! – продолжал Гейер. – Не спрятано ли там оружие?

У Ханькова нашлись два рублевика, у Валериана кошелек с пятьюдесятью червонцами.

– Подай сюда! – сказал Гейер, жадно глядя на золото. – Я эти деньги должен представить его высочеству. А ты что за человек? – продолжал он, обратясь к денщику, переряженному рыбаком. – Ба! Я по платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка.

– Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно, – заметил Ханьков. – Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли в ней это платье, нарядили денщика и поплыли.

– Это все будет проверено. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной! Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочь и сестру этого старого плута. Их также надо будет завтра допросить.

Вся толпа двинулась и вскоре подошла к Летнему дворцу. Гейер вошел в комнаты и велел доложить о себе герцогу.

– Он очень занят и никого не велел принимать, – объявил камердинер герцога.

– Скажи его высочеству, что весьма важное дело.

Через несколько минут Гейер был позван во внутренние покои дворца. Пройдя через залу, он вошел в кабинет герцога и потом в уборную герцогини. Там правитель с супругою и братом, генералом Карлом Бироном, сидели за столом и играли в бостон.

– Господин секретарь! – сказал герцог, тасуя карты. – Я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности, знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время.

Он усмехнулся и начал сдавать карты. Гейер низко поклонился, остановившись у дверей.

– Это единственное мое развлечение после дневных, тягостных трудов. Ну, что же скажешь, Гейер?.. В сурях шесть!.. Что у тебя за дело?

– Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество изволили мне дать приказание, взяты.

– Где они сейчас?.. Ну, брат, умело сходил! Разве не видел ты, что два короля и две дамы уже вышли?

– Они теперь у крыльца стоят, связанные.

– Кто? Два короля и две дамы? – заметил Бирон, улыбнувшись. – Дурак ты, Гейер!

– Я отвечаю на вопрос об арестантах вашему высочеству, – сказал секретарь с подобострастной ухмылкой.

– Не мешай! Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их, куда должно, допроси по порядку и потом доложи... Ну вот и ремиз! Ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре.

– С ними еще взят придворный рыбный поставщик Мурашев и денщик их, потому что...

– Убирайся к черту! Кончишь ли ты сегодня? Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай!.. Гран-мизер-уверт!

Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у тех были завязаны.

– Можно ли нам разговаривать между собою, господин секретарь? – спросил Ханьков.

– Позволяется, – важно ответил Гейер, довольный покорностью капитана. Он подумал еще, что из разговоров своих арестантов сможет узнать немного их характеры и что это ему поможет успешнее провести допросы.

– Валериан! Валериан! Ты здесь? – продолжал Ханьков.

– Здесь.

– Боже мой, какой у тебя печальный голос! Полно унывать! Все пройдет.

– Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла.

– В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени! – сказал шепотом Мурашев. – У меня есть книжка, именуемая «Советы премудрости», в ней, я помню, написано: «Не обременяй себя тужением и грущением. Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением, и с ним решение чини, не торопяся и грустяся». Ба! Мы, кажется, идем теперь куда-то вниз, будто с горки. А вот теперь поднимаемся

на какой-то мостик. Как доски-то гнутся под нами! Как бы не провалиться, грехом! Вот слезли с мостика. Где мы теперь, Бог весть! Кажется, около нас вода шумит. Точно! Мы в лодке плывем. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить?

– Перестань! – закричал Гейер. – Говори, да не заговаривайся!

– Извини меня, глупого, господин секретарь! С горя мало ли что сболтнется. И в некоторой мудрейшей книге сказано: «Сей для тебя лучший совет, чтоб иметь твой рот за замком. Но как непрестанно надлежит его отпирать и говорить, когда причина и нужда того требуют, то кажется, что сие замыкание не может быть великою пользою». А впрочем, как прикажете.

– Теперь я ничего не приказываю, – сказал Гейер. – Только знай, любезный, что какой бы ни висел на твоём рту замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает.

Через некоторое время арестантов опять высадили на берег и повели дальше. Потом они заметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжелая дверь, захлопнулась за ними и щелкнул два раза ключ.

– Развяжите им глаза и руки, – продолжал Гейер.

– Боже мой! Где мы? – воскликнул Валериан. Ханыков мрачно осмотрелся, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашев и денщик, озираясь, начали креститься.

Висевший под сводом фонарь освещал довольно объемную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небеленые кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом свете фонаря казались выкрашенными кровью. Под фонарем стоял дубовый стол, на котором около глиняной чернильницы лежали в беспорядке бумаги. Вдоль стен расставлены разные орудия и машины странного вида. Напротив стола, на стене, висели большие часы.

Гейер, севши к столу, придвинул к себе связку бумаг, потер руки, как человек, принимающийся за любимое занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал:

– По приказанию его высочества регента я должен вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела. Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не отворится, пока не признаетесь во всем том, в чем вы обвинены самыми верными доказательствами пред его высочеством регентом целой России и моим всемилостивым патроном и благодетелем. Какая бы черная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, которые он поднимает ко благу общему и вашему, если б вы вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии вздумали оказывать притворство, лицемерие и скрытность! Везде, везде видны следы его мудрости, его неусыпных попечений! В прежние времена, когда ваша Россия... что я говорю!.. когда наше дражайшее отечество погружено было во тьму грубейшего невежества, кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моем месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытать, не сказав вам ни слова, но ныне уже не те времена. Его высочество регент и мой всемилостивый патрон, в Германии почерпнувший свое глубокое просвещение, пересадила, по мере возможности, плоды образованности и на здешнюю ледяную и часто неблагодарную почву. Между многими благодетельными учреждениями он отменил унижительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась только для воров и грабителей, и ввел порядок пытки европейский, наблюдаемый во всех просвещенных государствах. Будьте уверены, что я не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос. Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханыков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме ее высочества цесаревны Елизаветы Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры, что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве регенте, что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завещании покойной императрицы Екатерины Первой, по восьмой статье которого цесаревна Елизавета Петровна непосредственно по кон-

чине императора Петра Второго будто бы имела, равно как и ныне будто бы имеет, неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это, господин капитан? Заметьте, что все мною прочитанное не подлежит уже ни малейшему сомнению, что ваше преступление доказано и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали свое раскаяние, открыли всех ваших сообщников, объяснили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан!

– Я точно был несколько раз у ее высочества, но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею.

– Итак, вы намерены упорствовать и не признаваться? Жалею, очень жалею вас... но делать нечего. Господин поручик! Вы обвиняетесь как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдываетесь вы? Сверх того, вы должны подробно объяснить: когда и как отец ваш старался вас увлечь в феодосьевскую ересь?

– В этих обвинениях только то справедливо, что я друг капитана. Я горжусь этим! На остальное отвечать не хочу: все это самая низкая клевета!

– Ого, как вы горячитесь! Это весьма неблагоприятно, любезный поручик. Ну а вы что скажете? – продолжал Гейер, обратясь к Мурашеву и денщику. – Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, верно, принадлежишь к числу их сообщников; и ты, денщик, должен мне также все сказать, что знаешь. Отвечайте!

– С позволения вашего, – сказал Мурашев дрожащим голосом, – осмелюсь доложить, что я несколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слышал и сказать не могу.

– Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие! – продолжал скороговоркою денщик, вытянувшись. – Мое дело исполнять, что приказывают.

– Итак, вы все, как я вижу, не признаетесь и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии Verbalterrition. Я, может быть, неблагоприятно поступаю, открывая вам, любезные мои капитан и поручик, порядок и технические названия моих действий, но это, по крайней мере, удостоверит вас, что его высочество регент и мой всемиловливый патрон умеет избирать исполнителей просвещенных, аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей.

Гейер встал, велел подойти к стене арестантам и, указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал:

– Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам по моей обязанности.

Подробно описав орудия пытки³, Гейер в заключение объявил арестантам, что для избежания истязаний остается им один способ: полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде.

– Вы меня принуждаете приступить к действию, называемому Verbalterrition. Господин капитан! Не угодно ли вам вложить левую руку в эту стальную машину? Эй, вы! – продолжал Гейер, обратясь к своим подчиненным. – Покажите капитану, как это сделать должно. Хорошо! Заверните теперь винт. Довольно! Господин капитан, при втором повороте винта вы почувствуете боль нестерпимую. Признавайтесь!

– Нет, я не могу признаться в том, в чем не виноват.

³ При слове «пытка» нельзя не вспомнить с чувством народной гордости, что наше отечество опередило на пути человеколюбия просвещеннейшие государства Европы и что Екатерину Великой уничтожена была пытка еще тогда, когда в Европе считали ее необходимой принадлежностью судопроизводства.

– И Verbalterrition, то есть действие инструментов без причинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, теперь должен я приступить к действительной пытке. Поверните винт!

Ханыков стиснул зубы и побледнел.

– Третий поворот винта увеличит боль вдесятеро. Признаетесь ли?

– Я невинен, говорю вам, что невинен!

– Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут. Если не признаетесь, то велю повернуть еще раз винт и тогда не ручаюсь за целостность костей в вашей руке. Взгляните на часы: теперь без двадцати минут полночь. Так и быть! Даю вам двадцать минут сроку.

– Замучьте меня до смерти, но я все буду говорить одно и то же! – сказал твердо Ханыков.

Посреди последовавшего молчания раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханыков посмотрел на часы. Оставалась одна минута до истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решил признанием избавиться от пытки и безвинно умереть на плахе.

В это время раздался стук в двери.

– Кто там? – спросил сердито Гейер.

– Отопри! – раздался повелительный голос.

Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил ее. Вошли два человека с факелами и за ними герцог Бирон. По данному им знаку дверь опять заперли. Лицо его было мрачным, брови нахмурены.

– Покажите мне признание преступников, – сказал он Гейеру.

– Ваше высочество! Я еще не успел...

– Не успел? – закричал герцог, топнув ногой. – А что я тебе приказывал сегодня утром? Я велел не терять ни минуты. Научу ли я тебя не медлить с исполнением повелений регента!

– Ваше высочество сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра...

– Ты еще осмеливаешься мне возражать?! Молчи, бездельник. Завтра! Я велю обути тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить в них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постараешься сегодня же все узнать и меня успокоить, но тебе, я вижу, все равно: спокойно ли сплю я ночь или нет. Что ты делал до сих пор? Говори! Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь.

Оробевший Гейер, зная из многих примеров, что милость герцога от самых маловажных причин, а часто и без причины переходит в ненависть, решил прибегнуть ко лжи, чтобы успокоить герцога, и отвечал заикаясь:

– Я всех арестантов пытал по порядку мекленбургским инструментом. Никто ни в чем не признался.

– А испанские сапоги? Все мне надобно тебе указывать!

– Я решил прежде испытать действие этой стальной машины.

– В который раз винт повернут?

– Во втор... в третий, ваше высочество.

Бирон осмотрел внимательно машину и нахмурился.

– В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь?

– Ни одной подозрительной строчки.

Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханыкова, он спросил:

– Это кто?

– Капитан Ханыков, главный из обвиняемых, – отвечал Гейер.

– Итак, ты не хочешь ни в чем признаться? – сказал герцог, устремив на него грозный взор.

– Я невинен, ваше высочество!

– И ты мне это смеешь говорить! – закричал Бирон, застучав кулаками по столу и вскочив со стула. – Отверните винт! Возьми его, Гейер, и вели замуровать, пусть он, замурованный в стене, умрет с голоду!

Все содрогнулись. Ханьков, призвав на помощь все свое хладнокровие, твердо сказал герцогу:

– Я готов на казнь какую угодно! Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам, – казните!

– Зачем был ты в доме ее высочества?

– Она тайно благодетельствовала покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть еще преступление.

– Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом ее высочества и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня?

– В бумагах моих вы, вероятно, можете отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти, во время похода: оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду.

Герцог, пересмотрев бумаги, нашел письмо, о котором говорил Ханьков. В нем отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяния, оказанные ему цесаревной Елизаветой, питать к ней во всю жизнь благодарность.

Прочитав внимательно письмо, Бирон задумался.

– Это письмо ничего не доказывает... В чем обвиняются все прочие преступники? – спросил он Гейера.

– Они обвиняются только как сообщники капитана.

– Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны, – продолжал Бирон, – но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер! Освободить их теперь же! Однако же предупреждаю вас, что если после этого вы в чем-нибудь еще окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады.

Ханькову и всем прочим завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре они почувствовали себя на свежем воздухе. Потом их посадили в лодку, долго везли и, высадив на берег, повели далее.

Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кланяться капитану, поручику и Мурашеву.

– Имеем честь поздравить! – сказал один из них.

– С чем? – спросил Ханьков.

– С милостью герцога. А на водочку-то нам, ваше благородие! – продолжал прислужник, почесывая за ухом. – Ведь немало мы из-за вас хлопотали сегодня!

Мурашев, пожав плечами, дал ему рублевик, и прислужники, пожелав всем спокойной ночи, удалились.

– Где мы теперь? – спросил Ханьков, осматриваясь.

Сквозь тонкий ночной туман, расстилавшийся в нижних слоях воздуха, с трудом можно было различить вдали освещенные месяцем здания.

– Мы, кажется, посередине Царицына луга, – сказал Мурашев. – Вон, справа чернеется Летний сад, а слева видна Красная улица. Уф, батюшки! не в аду ли мы были?.. Куда же пойдём теперь? Милости просим ко мне: дом мой недалеко отсюда.

VI

Все пошли к дому Мурашева. Приблизясь к воротам, начали стучаться в калитку.

– Кто там? – закричал прислужник Гейера, выглянув из окна.

– Я хозяин этого дома. Пустите!

– Убирайся! Нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда.

– Вот тебе на! Хозяина в свой дом не пускают! Послушай, любезный, его высочество, сам герцог...

Окно захлопнулось, и Мурашев замолчал. Как ни стучались в калитку, все понапрасну.

– Что станешь делать? – воскликнул Мурашев. – Придется ночевать на улице, у ворот своего дома.

– Пойдемте к моему батюшке! – сказал Аргамаков. – Вон, дом его отсюда виден.

– Это дело! – подхватил Мурашев. – Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынный!

Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший правила феодосьевщины, наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в суету, то есть сообщился в тот день с никонианами⁴. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана квасу из кружки, к которой прикасались губы, без сомнения, многих никониан. Раздавшийся у ворот стук застал его на тысяча двадцать пятом поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в Фонтанку и тонет, то прежде досчитал он положенное число поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына⁵.

Даже хладнокровный Ханыков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка и шарообразно обстриженная голова с седой бородой высунулась оттуда⁶.

– Кто там?

– Это я, батюшка!

– Да ты не один?

– Это два моих приятеля и мой денщик. Нельзя ли нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась.

– В беде? Что мудреного! Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадет. Нынче и днем-то ходи да оглядывайся.

– Да нас только что из-под стражи выпустили. Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите.

– Не впустите! Кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить: теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас отворю ворота.

Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, рассказал ему их приключение.

На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенный, чтобы в пище и питье не сообщиться с никонианами.

– Давно уж мы не видались с вами, Илья Прохорович! – сказал Мурашев. – А близко друг от друга живем!

⁴ Так называли они всех не отделившихся от православной Церкви после исправления церковных книг патриархом Никоном.

⁵ В 1751 году 1 октября были сочинены раскольниками феодосьевского толка сорок шесть правил Феодосьевского собора. За нарушение их положены в наказание большею частью поклоны, которых в сложности определено 13 600. Раскол этот основан в 1706 году дьячком Крестецкого яма Феодосием Васильевым, который, по переkreщении в раскол, назвался Дионисием.

⁶ По правилам феодосиан наказывались сотнею поклонов те, которые не стригли волос по всей голове кругло, и даже отлучались от их сообщества.

– Что делать, Федор Власьич! Не одного мы стада овцы.

– С позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стерляжью уху, лакомились осетриной, но с тех пор, как вы рассудили перекреститься в феодосьевскую веру, ни разу вместе ухи не хлебали.

– В феодосьевскую? Что за феодосьевская! Скажи – в истинную, Федор Власьич.

– С позволения вашего, я спорить с вами не стану. У меня есть книжица небольшая, именуемая «Советы премудрости», в ней сказано: «Неоднократно во всяком веке случается, что маленький философ хватается свидетельствовать веру или переделывать элементы и перевертывать свет низом вверх. Не доверяй сам себе и твоему рассуждению. Новизна есть такой путь, который приводит к древнейшему греху, то есть отступлению. Причиною всегдашнего усматривания находившихся в таком погибельном и злосчастливом путии многих знатных особ сие есть, что бес всегда по оному пути прежде всех ходил. Каков бес ни есть, однако в такое время, когда он через притворство показывает себя богоязливым, бывает угоден женскому полу».

– Федор Власьич! Пристало ли тебе в моем доме говорить мне укорительные слова? Никто из наших собратьев не походит на беса, не притворствует и не угождает женскому; у нас главное правило: убегать от всякой женщины.

– Вы не поняли меня, Илья Прохорович! Я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватаются за это маленькие и всегда с истинного пути сбиваются. Вашу, например, веру установил, как говорят, дьячок Крестецкого яма Феодосий. С позволения вашего, мне кажется, что его и маленьким то философом назвать нельзя: он был дьячок, да и только, а многих, однако, приманил на свою уду и поймал.

– Федор Власьич! Не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на звание наше.

– Не сердитесь, Илья Прохорович! Я, пожалуй, замолчу, но, с вашего позволения, никогда бы не поверил я дьячку.

– Все вы, никониане, так упорствуете против истинного учения!

– Да чем доказать можно, что оно истинно?

– Чем!.. чем!.. Давай, например, мне самого злого зелья: я выпью – и мне ничего не делается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянитесь все вы, теперь меня слушающие, обратиться к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянитесь! Я сейчас готов испить чашу с зельем для обращения и спасения вашего. Не отступлю от веры истинной до конца! Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Бирон! Вели сжечь меня: я готов принять венец мученический, не усташусь угроз твоих.

– Разве Бирон угрожал вам, батюшка? – спросил молодой Аргамаков, которого привели в беспокойство последние слова отца.

– Да, любезный сын. На меня кто-то донес ему; секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а все мое имение возьмут в казну, если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышление.

– Боже мой! – воскликнул сын, вскочив со стула. – Батюшка! Неужели вы захотите погубить себя?

Он любил искренно своего старого отца, несмотря на все его странности. Никогда и мысленно не осуждал он его усердие к расколу. Честность старика Аргамакова, его бескорыстие и готовность помогать ближнему невольно заставляли всякого уважать его, кто имел случай узнать его поближе. Сын всегда избегал прений с отцом своим о вере, убедясь из опытов, что они огорчали только старика, зато и старик горячо любил своего сына за его почтительность, никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду, что пример его и кроткие убеждения побудят наконец сына принять учение, которое считал старик истинным.

Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении феодосьевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Бирона и отказаться от своего заблуждения.

– Вот до чего дожил я! – воскликнул старик, подняв глаза к небу. – Сын искушает меня и хочет ввергнуть душу в вечную погибель! Нет! Не будет этого. Замолчи, искушитель! Не совратить тебе меня с пути истинного, не лишишь ты меня венца мученического. Вижу, вижу тайные помыслы твои. До сих пор я не давал тебе благословения на женитьбу, и ты надеешься, что, совратив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на брак. Не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрия и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты...

Старик закрыл лицо руками и заплакал.

– Бог свидетель, – воскликнул с жаром сын, – что я не о себе теперь думаю, батюшка: одна любовь к вам заставила меня говорить.

– Через день меня не будет уже на свете: пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром: временный огонь спасет меня от вечного.

Сказав это, старик подошел к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелек, наполненный золотом.

– Любезный сын! Вот все, что я накопил честными трудами в течение целой жизни. Отдаю это тебе... Не забывай бедных... Если ты уже не можешь быть счастливым в этой жизни без брака, даю тебе мое благословение... Прости, Господи, слабость мою!.. Потщись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить не оцененное сокровище целомудрия, которое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни и в будущей и молись за грешного отца твоего.

– Нет, любезный батюшка! Вы не умрете: я спасу вас во что бы то ни стало.

Ханыков, погруженный в мрачные размышления, ходил взад и вперед по комнате. Мурашев, расстрогавшись, утирал рукавом слезы, которые навертывались на его глаза. Старик Аргамаков возбуждал к себе чувство, в котором уважение к его твердой решимости и сожаление об его заблуждении сливались странным образом.

Мурашев тихонько вышел из комнаты и побрел к своему дому, придумывая средство к спасению отца своего молодого приятеля. Прислужник Гейера, выглянув из окна, снова разбранил и отогнал хозяина от ворот. Мурашев, в свою очередь, разбранив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправился отыскивать Гейера, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейер, как клад, нигде не показывался. Мурашев поздно вечером вынужден был опять возвратиться на ночлег к старику Аргамакову. Срок, данный последнему на размышление, должен был истечь на другой день утром. Валериан и друг его, Ханыков, истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи, ожидавшей старика, целую ночь они советовались и ничего не могли придумать.

Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он, завернутый в плащ, за несколько дней до того разговаривал на Симеоновском мосту.

– А! – сказал он. – Да здесь все знакомые! Нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату: я должен переговорить с хозяином дома.

Все повиновались.

– Ну, почтенный! – продолжал он, обратясь к старику Аргамакову. – Я прислан к тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решился отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу: я представлю ее герцогу, и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф, да за тобой представят надзор.

– Я уже сказал, что ни за что на свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь тоже повторяю. Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от блаженной смерти мученика; не возьму греха на душу: купить за деньги право поклоняться Господу поклонением истинным.

– Ого, любезный! Да ты, вижу, упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцога, то я теперь же возьму тебя под стражу, и через несколько дней тебя сожгут.

– Делайте со мною что хотите: на все готов за веру истинную.

– Хорошо! Прекрасно!.. Стереги его и никуда не выпускай! – сказал Гейер своему прислужнику. – Я сейчас же должен съездить к его высочеству и обо всем доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно!.. До свидания!

Гейер удалился, а Валериан и Ханьков с Мурашевым немедленно вошли опять в комнату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Гейером, Валериан не мог удержать слез своих, Ханьков пожал плечами и вздохнул, а Мурашев начал ходить большими шагами по комнате, восклицая:

– Ах, Господи Боже мой! Что за напасть!

Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату.

– Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен ли ты? Я, авось, уломаю старика: он подпишет отречение и штраф заплатит.

– Пожалуй, я согласен. Только выпустить его отсюда никак нельзя! – отвечал прислужник.

– Да и не нужно! Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев.

Федор Власыч после того куда-то отправился и вскоре возвратился, неся в склянке какую-то жидкость.

– Ты обещал нам, Илья Прохорыч, – сказал он старику Аргамакову, – показать чудо для обращения нас к вере истинной и спрашивал: уверуем ли мы, если ты выпьешь яду и тебе ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился.

– Поклянись в этом! – воскликнул старик, с восторгом схватив его за руку.

– Изволь, клянусь! Только...

– Что у тебя в склянке?

– Яд, да какой! Ну такое злое зелье, что и глядеть на него страшно!

– Давай сюда! Помни же свою клятву. Мне приятно перед смертью, которую приму от Бирона, обратить еще одного ближнего на путь истины.

– Батюшка! Что вы делаете! Остановитесь! Я донесу на вас, Федор Власыч, как на отравителя, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда.

– Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда склянку, Федор Власыч!

– Не давай, не смей давать! – закричали Валериан и друг его, бросаясь к Мурашеву.

– Да не горячитесь, господа! Не забудьте, что это чудо может послужить к общему нашему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду, я поступлю осторожно: не бойтесь!

Офицеры хотя и не поняли еще намерений Мурашева, но удостоверились, что он вреда никакого не делает.

Взяв стакан, Мурашев вылил в него из склянки половину жидкости.

– По-настоящему, мне нельзя этого дозволить! – сказал прислужник.

– И! Почтенный! – возразил Мурашев. – Будь спокоен: я не дам Илье Прохорычу ни капли! Что мне за охота в беду попасть!

Старик Аргамаков между тем неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза с любопытным ожиданием; молодой Аргамаков и друг его, сильно встревоженные, не знали что делать и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к небу, то на Мурашева, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание.

К изумлению всех, выпитый яд не произвел никакого действия. Одного Мурашева это не удивило; он для спасения соседа своего от костра придумал дать ему под видом яда голландской полынной водки, зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодосиан, никогда не пивал даже простого русского вина, а о вкусе иностранных водок не имел и понятия.

– Веруешь ли теперь? – спросил Аргамаков Мурашева торжественным голосом. – Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным: злое зелье мне не повредило. Поклонись же нашему Богу и отрекись от вашего⁷. Помнишь ли свою клятву?

– Удивительное дело! – прошептал Мурашев с притворным смущением. – Может быть, я достал яду не такого сильного! Притом ты выпил менее половины склянки.

– Давай еще, давай полный стакан! Увидишь, что и от этого мне ничего не сделается.

– Ну, не ручайся, Илья Прохорыч.

– Наливай, не сомневайся! Узришь еще большее чудо и тогда отречешься от своего нечестия. Наливай полнее! Не страшись и не опасайся. Я выпью, пожалуй, еще третий стакан, если двух мало для обращения твоего к нашей вере истинной.

– Нет, Илья Прохорыч, и двух будет довольно.

Естественно, что от двух стаканов полынной водки у набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный и склонный к веселости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами феодосьевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как в весеннее половодье речка через ветхую плотину.

– Ну что, любезный Федор Власыч, – сказал он, бодро расхаживая по комнате, – ты теперь уже наш?

– Нет еще, Илья Прохорыч.

– Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно, я от твоего зелья чувствую себя только веселее. Так, что-то на душе легко.

– Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне также дай. Если ты через полчаса пройдешь из этого угла в другой, то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неоспоримо, что вера твоя прямая и истинная, – тогда я твой; если же не исполнишь этого и повернешь в сторону, на север или на юг, тогда будет это знамением, что вера твоя не истинна. Поклянись, что ты тогда от нее отречешься и будешь наш.

– Изволь, любезный Федор Власыч, изволь, клянусь благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол и не сверну ни направо, ни налево.

Мурашев усадил старика на софу и, когда прошло полчаса, напомнил ему клятвенное его обещание. Аргамаков, встав в угол комнаты и оборотясь лицом к востоку, твердыми шагами пошел в другой угол.

– Видишь, Федор Власыч, – сказал он, остановясь посередине комнаты, – сбиваюсь ли я с прямого пути? Доколе будешь упорствовать в твоем неверии?

– Да ведь ты еще не дошел до другого угла, Илья Прохорыч.

– За этим дело не станет, – вот, смотри!

– Эй, эй! К югу заворачиваешь, или нет, поправился. А вот уж теперь, воля твоя, тебя несет невидимая сила прямо к северу.

⁷ Феодосиане утверждали, что у них один Бог, а у не принадлежащих к их расколу – другой.

– Неправда. Летом прямохонько против этого окошка солнце восходит – именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите!

В этот раз невидимая сила увлекла усердного последователя феодосьевского учения прямо к югу, и так быстро, что он верно бы упал, если б не успел сесть на софу.

– Горе мне, грешнику! – воскликнул он, сплеснув руками.

– Теперь уже видишь ты сам, Илья Прохорыч, что забрел в такую сторону, где солнце никогда не восходит.

– Горе мне, грешнику! Что я сделал! Погиб я, пропал навеки! Верно, лукавый положил мне под ноги камень преткновения.

– А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорыч? Ты ведь поклялся вашим великим учителем Дионисием.

– Поклялся, истинно поклялся, делать нечего! – воскликнул старик, вскочив с софы.

– И верно, не захочешь быть клятвopеступником?

– Клятвopеступником? Чтоб я сделался клятвopеступником?! Нет, не будет этого! Не только клятву, но и простое слово всегда я свято исполнял... Не поддержал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддержу. Сам ты виноват, впредь своих не выдавай.

– Да кого может дьячок поддержать, Илья Прохорыч? Верно, его самого, когда он был жив, нередко поддерживали другие, особенно в праздники. Плюнь на него, он просто обманщик.

– Не говори хулы! – сказал старик с глубоким вздохом. – Может быть, я недостойн его помощи, и он от меня отступился.

– Ну так ты отступись от него. Хорош же он, когда сам показал, что вера его не прямая и не истинная. Притом клятва твоя...

– Да, клятва, клятва! Связала она мою душу. Поторопился я! Этой клятвой погубил я себя, погубил навеки!..

– И, полно, Илья Прохорыч! Дьячок Феодосий был, с позволения вашего, плут и, верно, сам в аду сидит. Что его бояться?

– Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву, – сказал Ханьков. – Если же решитесь ее нарушить, то вы останетесь клятвopеступником перед вашим наставником в вере и не можете после того ожидать от него ничего доброго.

– Правда, правда! – сказал старик. – Господи! Покажи мне путь истинный!

– Ну, подпиши же это, благословясь, Илья Прохорыч! – продолжал Мурашев, подавая ему бумагу, оставленную Гейером. – Вот тебе и перо.

Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложа судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствовавшие молчали, волнуемые надеждой и сомнением. Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу.

Сын бросился обнимать его. Мурашев, глядя на них, чуть не плясал от радости. Ханьков подошел к нему и крепко пожал ему руку.

– Теперь остается заплатить штраф, когда возвратится сюда господин секретарь его высочества – и дело будет кончено! – заметил прислужник Гейера. – Только советую всем не разглашать этого дела, а не то легко может случиться, что почтенного хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком.

– За штрафом остановки не будет – сказал Мурашев. – Молчать мы также умеем, а теперь не мешало бы и пообедать. Я так голоден, что едва на ногах стою.

Старик Аргамаков послал своего работника в ближнюю гостиницу и велел принести самый роскошный, по тогдашнему времени, обед.

Когда накрыли на стол, явился Гейер. Он еще не доложил герцогу об упорстве старика Аргамакова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для

почтенного секретаря был всего важнее. Валериан, с согласия отца, вручил Гейеру сорок червонцев, которые тот потребовал, и секретарь с прислужником удалился, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобновилось и не довело старика до костра. На просьбу Мурашева Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещании лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера.

Все сели за обед. Старик Аргамаков сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувствовав по привычке упрек совести за общение в пище с никонианами.

После стола Мурашев, порядочно выпивший на радостях, немедленно отправился домой, полагая, что уже его туда впустят по приказанию Гейера. И точно, он беспрепятственно вошел в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья Власьева оделась по-праздничному, в платье с преширокими боками, и что Ольга Федоровна очень плакала, садясь в карету.

– Что за вздор! – воскликнул удивленный Мурашев. – Верно, сестра вздумала против воли увезти ее куда-нибудь в гости. Да генерал ли за ними приезжал? – спросил он дворника. – Не камер-лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала.

– Не знаю, хозяин. Кажись, генерал приезжал – а и то сказать, наверное не ведаю. Может статься, что и камер-лакей. Не всегда их распознаешь! Видел я только, что у него на кафтане множество золотых вычур.

– Ну, так это камер-лакей! Верно, сестра изволила отправиться в гости к Ивану Ивановичу. Выбрала же время, сумасшедшая!

Успокоясь этой догадкой, Мурашев пошел в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргамакову и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глаза его книги «Приклады, как пишутся комплименты разные». Он искал форму благодарного писания за доброе угощение и переписал ее слово в слово, не приметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аргамаков получил следующее письмо:

«Благошляхетный, особливо высокопочтенный господин, знатный патрон!

Моя должность и повеление от всей компании, которая честь имела от вас так изрядно удовольствована быть, понуждает меня моему высокодрагому благодетелю за все полученные учтивства и великие благодеяния должное благодарение отдать и при том вас во имя всех и каждого особо обнадежить, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность через возможное воздаяние в самом деле паки воздать. Дорога в город назад нам зело трудна была, и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благость винна была, понеже мы принуждены были столько изрядных рюмок за здравие прекрасных испорожнять, так что господин имярек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа девица имярек штраф или пеню наложила, что он принужден последующего утра коляцию (или вечеринку с конфетами) учинить, при которой и о вас, высокопочтенном господине, не однажды поминали, и правда общее желание к тому было, чтобы мы могли честь иметь вас здесь у нас видеть, и вам через возможное услужение, нашу преданность и склонное благоволение показать, всегда бы вы, мой высокопочтенный господин, нам здесь то великое счастье вкратце изволишь подать, то вы бы чрез то многих вящше облиговал: между которыми я особливо себя вам высоко обязана быть признаваю моего высокопочтенного господина и знатного патрона к услугам готовый

Федор Мурашев».

Наступил вечер, Мурашев послал дворника к своему знакомому камер-лакею, Ивану Ивановичу, чтобы звать сестру и дочь скорее домой, но дворник возвратился с ответом, что они за весь тот день не приезжали ни на минуту к Ивану Ивановичу и что сам Иван Иванович находится в большом горе, потому что у него накануне сбежала неожиданно ключница, к которой десять лет он имел полное доверие, и унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, медный кофейник и парадные штаны.

– Побери его нелегкая со всеми его штанами! – воскликнул Мурашев. – Не знаю, что и делать! Куда это, Господи, девалась моя Ольга?

Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерианом и Ханьковым.

– А! Дорогой сосед опять ко мне пожаловал! Мы только что за ужин хотели сесть, – сказал старик Аргамаков. – Да скажи, ради Бога, что за письмо ты ко мне прислал?

– Мы трое его разбирали, но не все поняли, – прибавил Ханьков.

– Как не поняли? Я написал к Илье Прохоровичу благодарное писание за доброе угощение. Это уже так водится между всеми хорошими людьми.

– Благодарствую, Федор Власыч! Только отчего же ты пишешь, что дорога в город тебе была трудна? Ведь и я живу не за городом, по ту сторону Фонтанной речки, да и далеко ли от моего дома до твоего!

Мурашев, у которого вместе с парами наливок вылетело из головы содержание выписанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос.

– Еще ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здоровье прекрасных. В наши ли лета, Федор Власыч, пить за их здоровье? Я подумал, что ты надо мной смеешься. Ты ведь один давеча от меня домой пошел?

– Один-одинехонек. С кем же мне было идти?

– А как же ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение, и какая-то девица на него пени наложила, а именно: вечеринку с конфетами, на которую и я приглашен. Пожалуй, я бы пошел, да не знаю, к кому и куда.

– Неужто это у меня в письме написано? – сказал Мурашев, смутясь.

– Вот письмо твое, посмотри сам. Скажи-ка, что за девицу ты провожал? – продолжал Аргамаков, грозя пальцем Мурашеву.

– Какой ты, Илья Прохорыч! Да ведь все это так только пишется, это называется комплимент, а ты подумал, что уж все так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь, у меня дома неблагополучно.

– Что такое? – спросили все в один голос.

– Сестра и дочь пропали.

– Как пропали! – воскликнул Валериан, бледнея.

– Дворник мой говорит, что какой-то генерал увез их в карете. Не знаю, что и подумать.

По общему совету решили: если Дарья Власьевна и Ольга не возвратятся домой к ночи, на другой день, на рассвете, начать их искать по всему городу.

VII

Несколько дней прошло в напрасных поисках и расспросах. Валериан был в отчаянии.

В день рождения супруги герцога Бирона, курляндской дворянки Трейден (которая, по свидетельству современников, отличалась ограниченным умом и неограниченной гордостью), назначена была по ее требованию, несмотря на ноябрь месяц, иллюминация в Летнем саду и на Царицыном лугу, на котором в то время были насажены в разных местах деревья. Прелестной решетки Летнего сада тогда еще не было. На ее месте, близ дворца Петра Великого, по берегу Невы, не отделанному еще гранитом, тянулся длинный деревянный дворец, построенный в 1732 году императрицей Анной Иоанновной; в стороне от дворца стояла каменная гауптвахта; далее, на берегу Фонтанки, возвышалась беседка в виде грота, украшенная морскими раковинами. Сад отделялся от Царицына луга каналом; по другую сторону луга, от того места, где ныне Мраморный дворец и где тогда, после сломанного Почтового двора, устроили площадь, проведен был другой канал из Невы в Мойку. Ряд зданий, находившихся на берегу последнего канала, назывался Красной улицей. Примечательнейшим из этих зданий был собственный дворец императрицы Елизаветы Петровны, в котором она жила до вступления на престол.

Наступил вечер, на счастье, сухой и не слишком холодный, и безлиственные аллеи Летнего сада осветились шкаликами. На Царицыном лугу между деревьев зажглись изредка площадки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами березы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромные качели и карусель. Первая состояла из деревянного льва, повешенного на веревках за высокую перекладину; на львиный хребет с одной стороны садились дамы, с другой мужчины, и послушный царь зверей качал свою ношу из стороны в сторону. Карусель была устроена из большого деревянного круга, по краям которого стояли четыре деревянные, оседланные лошади, а между ними столько же саней на высоких подставках. Круг поворачивали около толстого деревянного столба, а сидящие на лошадях и в санях старались тонкими копьями снимать развешанные над ними железные кольца. Кто больше снимал колец, того провозглашали победителем. Валериан, Ханьков и Мурашев печально ходили в толпе народа: им было не до гулянья. Они внимательно смотрели на каждого попадавшегося им навстречу генерала, если вместе с ним шли женщины.

– Авось сегодня загадка разгадается! – говорил Мурашев со вздохом. – Теперь весь город собрался в сад. Может быть, мы где-нибудь увидим Ольгу или, по крайней мере, глупую мою сестру.

– Я все думаю, – заметил Ханьков, – не попались ли они в руки Гейера? Если так, то их, верно, не будет на гулянье.

– Да отчего же бы моя сестра нарядилась по-праздничному и надела свои фижмы? Кого Гейер потащил к себе, тому не до нарядов.

Долго бродили они по саду и наконец, выйдя на Царицын луг, приблизились к окруженной деревьями площадке, где стояла карусель. На лошадях сидели трое мужчин и одна женщина, с копьями в руках; сани также были заняты игравшими. Деревянный круг быстро обращался около столба и производил такой скрип,

*Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.*

При каждом снятом кольце раздавалось общее восклицание «браво!».

– Что за дьявольщина! – проворчал Мурашев, всматриваясь в кружившуюся на деревянной лошади женщину. – Это, кажется, моя сестрица изволит отличиться?

– Быть не может! – возразил Ханьков.

– Это именно она! – воскликнул Валериан.

– Что за диковина! – продолжал Мурашев. – Пойдемте поближе.

Сквозь толпу зрителей они протеснились и стали подле карусели. В самом деле, в черной бархатной шапочке с красным страусовым пером, в генеральских фижмах, в длинной мантилии ярко-оранжевого цвета, которая величественно развевалась, как адмиральский флаг во время сильного ветра, носилась Дарья Власьева на деревянном коне около столба и ловко поддевала длинным копьём развешанные кольца. На лице ее сияло удовольствие или, лучше сказать, восторг. Подхватив на копьё кольцо, она торжественно и гордо посматривала на зрителей, и восклицание «браво!» сильнее потрясло ее сердце, нежели клик «ура!», которое потрясает сердце полководца во время решительной битвы. В одних из саней сидела Ольга рядом с каким-то генералом, который с ней разговаривал и смеялся, вероятно стараясь ее развеселить. Судя по ее потупленным глазам и бледному лицу, можно было легко заметить, что бедной девушке было вовсе не до веселья.

Валериан задрожал от гнева, увидев Ольгу. Рука его невольно упала на рукоятку шпаги, и он верно бы бросился к генералу, если бы Ханьков не остановил его, крепко схватив своего друга за руку.

– Ради бога, успокойся! Разве ты не видишь, что это брат герцога?

– Пусти меня! – кричал Валериан, вырываясь. – Пусти меня к этому бездельнику!

– Вспомни, что и где ты говоришь. Ты себя погубишь!

На счастье, сильный скрип деревянного круга заглушил голос Валериана, так что никто из близстоявших зрителей не мог расслышать его слов.

Между тем Мурашев с беспокойством смотрел на дочь свою, не зная, что подумать, и изредка поглядывал на Дарью Власьевну с такой досадой, что у него в горле дух перехватило.

Случайно она его увидела в толпе. Мурашев погрозил ей кулаком, а Дарья Власьева, в вихре удовольствия не заметив этого движения, жеманно кивнула головой, прищурила один глаз, улыбнувшись в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату.

– Недаром сказано в «Советах премудрости», – ворчал сквозь зубы Мурашев, желая чем-нибудь себя успокоить, – «приключилась в нашей натуре порча, коя производит беспутные дела по большей части в женщинах. Сила дымов и паров, слабость душевных органов и мысли и, наконец, слепота ума причиняют многие слезы тем, кои их любят. В них виды предметов огненные, легкомысленные, заблуждательные. Мечтание нежное и слабое последует их заносчивости. Что от нас называется своенравием, упрямством, неистовством, то многократно бывает бесом, который входит в их голову и заставляет их делать то, что мы видим».

Между тем все кольца были сняты играющими, деревянный круг остановился, и стоявший посредине круга, у столба, секретарь герцога Гейер, пересчитав все снятые кольца, провозгласил:

– Девица фон Мурашева осталась победительницей!

– Bravo! – закричали все участвовавшие в игре и захопали в ладоши. Гейер подбежал к Дарье Власьевне и помог ей слезть с деревянного коня. Она начала раскланиваться и приседать, повертываясь во все стороны. Генерал, подав Ольге руку, вышел с ней из саней, адъютант его взял под руку Дарью Власьевну, и все общество пошло к деревянному льву, на котором качалось другое общество.

Генерал, шедший с Ольгой, был старший брат Бирона, Карл. Сначала он служил в России, попался в плен к шведам, бежал в Польшу, дослужился там до чина подполковника, опять перешел в русскую службу и, по милости брата, в короткое время попал в генералы. Он мог бы гордиться множеством ран, если бы они были получены им в сражениях, а не на поединках или во время ссор, до которых почти всегда доходило дело там, где Бирон намеревался повеселиться.

На каждой пирушке, где лилось шампанское, входившее тогда в моду, он всех храбрее рубил головы бутылкам и яростно истреблял этих неприятелей. Все боялись его; одно слово, сказанное ему не по нраву, могло иметь следствием или поединок, или непримиримую вражду герцога, который уважал все его жалобы. Даже Гейер его страшился, старался всеми мерами ему угодить и был ревностным исполнителем его поручений по части любовных интриг. Заметив необыкновенную красоту Ольги, Гейер немедленно навел генерала на добычу. В то время как Дарья Власьевна и Ольга сидели под караулом в доме Мурашева, Карл Бирон приехал к ним, притворился страстно влюбленным в Ольгу, объявил решительно, будто он на ней хочет жениться, и убедил Дарью Власьевну тотчас же переехать к нему на несколько дней, с его невестой, в загородный дом. Дарья Власьевна совершенно одурела от такого неожиданного случая. Ей казалось, что Ольга должна считать себя счастливейшей из смертных, выйдя замуж за брата регента, что отец Ольги будет тех же мыслей, что не исполнить требования брата герцога значит погубить и Ольгу, и всех родных ее.

Все это она представила племяннице со всевозможным красноречием, опровергла все ее опасения, почти насильно одела ее в лучшее платье и вынудила отправиться в карете с генералом.

– Что ты, дурочка, боишься? – говорила она, одевая Ольгу. – Ведь и я с тобой еду. Теперь непременно надо исполнить волю генерала, не то попадем в большую беду. Будет еще время, после подумаем и с отцом посоветуемся. Вообрази: ты будешь родней его высочеству герцогу! Шутка ли!

Карл Бирон, со своей стороны, старался успокоить Ольгу, говоря, что если он ей не понравится, то принуждать ее не станет. Впрочем, прибавил он, мудрено не полюбить меня, узнав покороче.

Дарья Власьевна, одев Ольгу, вывела ее к генералу и с трепетом сердечным сказала:

– Так как и я удостоена счастья быть приглашенной к вашему превосходительству, то не позволите ли вы мне одеться поприличнее, чтобы простой наряд мой не показался странным в вашем блистательном доме.

– Да, да! – отвечал Карл Бирон, едва удерживаясь от смеха. – Это необходимо, я этого просто требую.

Дарья Власьевна тотчас облеклась в генеральские фижмы, в платье с длинным шлейфом, завязала еще несколько своих и Ольгиных нарядов в скатерть, и Бирон с глупой теткой и бедной племянницей поехал в свой загородный дом. Там он всеми силами старался развеселить Ольгу, у которой сердце беспрестанно ныло от беспокойства, между тем как Дарья Власьевна, не подозревая об истинных целях генерала, блаженствовала в его доме, обходилась с ним по родственному, любовалась перед зеркалами своими фижмами и шлейфом. На все учтивости и ласки генерала Ольга отвечала слезами и просила возвратить ее в отцовский дом. Бирон говорил, что он жить без нее не может, и упрашивал Ольгу пробыть несколько дней в его доме, пока он совершенно не удостоверится в невозможности ей понравиться. Между тем он обдумывал втайне средства к достижению своей цели и находил в этом промедлении известное наслаждение. Так сытая кошка, поймав молодую птичку, которая еще не может летать, любит свою жертвой, играет с ней и съедает не сразу.

Утром того дня, когда праздновали день рождения герцогини, Карл Бирон неожиданно вошел в комнату, которую он отвел для гостей. Ольга была уже одета, а Дарья Власьевна стояла перед зеркалом, заканчивая свой туалет. Волосы ее еще не были причесаны, она только приладила на один бок фижму, когда послышались шаги Бирона в соседней комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила фижму, схватила платье со шлейфом и надела его так же быстро, как меняют платье актеры в операх и балетах. Ольга помогла ей кое-как застегнуть крючки лифа.

– Извините, – сказал Бирон, войдя, – я, кажется, перепугал вас. У меня к вам просьба, Дарья Власьевна: сходите поскорее в Гостиный двор и купите две мантильи для себя и для племянницы вашей. Сегодня вечером в Летнем саду назначено гулянье. Вот вам деньги.

– Мне, право, так совестно! – жеманно сказала Дарья Власьевна, поправляя волосы и прикрывая рукой бок, на котором не было фижмы. – Я еще не кончила своего туалета и никак не ожидала так рано вашего посещения...

– Ничего, не беспокойтесь! Что за церемонии между родственниками? Сходите же скорее.

– С величайшим удовольствием. Позвольте только закончить туалет. Осмелюсь вас попросить на минуту выйти из комнаты.

– Помилуйте, да вы совсем одеты. Я боюсь, чтобы не заперли лавок по случаю сегодняшнего праздника. Сделайте милость, идите скорее. Вот вам мантилья ваша.

Делать было нечего. Дарья Власьевна надела мантилью, покрыла голову капюшоном и отправилась в путь с одной фижмой.

– Мы остались одни, Ольга! – сказал Бирон, взяв ее за руку. – Давно хотел я поговорить с тобой наедине. Реши судьбу мою, скажи: любишь ли ты меня?

– Оставьте меня ради бога, генерал! – взмолилась Ольга, вырывая свою руку из рук Бирона.

– Ты боишься меня? – продолжал он. – Ты не веришь любви моей? Ах, Ольга! Я без тебя жить не могу. Сядь сюда, на эту софу, милая, успокойся. Поговори со мной. Неужели ты хочешь погубить меня?

Он силой усадил трепещущую Ольгу на софу и обнял стан ее одной рукой.

– Помогите! Помогите! – закричала девушка.

– Ты напрасно кричишь, я отослал всю прислугу, мы с тобой вдвоем здесь. Ольга, обними меня, назови женихом своим. Не забывай, я родной брат герцога.

– Это вы забыли, генерал, – отвечала Ольга, рыдая и вырываясь из объятий Бирона, – вы поступаете как разбойник!

– Разбойник?! – вскричал Бирон. – О, за эту дерзость надо наказать тебя. Перестань же упрямиться, обними, поцелуй меня! Ты видишь, как я снисходителен, кто еще, кроме тебя, мог бы безнаказанно оскорбить меня? Но невесте я все прощаю.

С отчаянным усилием Ольга вырвалась из его объятий, подбежала к столику, на котором стояли два прибора, приготовленные для завтрака, и, схватив нож, приставила его к сердцу.

– Ольга, Ольга, что ты делаешь?! – закричал Бирон, вскочив с софы.

– Не подходи, не подходи, злодей! Один шаг – и на твоей душе будет смерть моя!

– Ну хватит, брось нож! Я не подойду, не трону тебя, я немедленно выпущу тебя из моего дома.

– Ты лжешь... – Девушка занесла над собой руку с ножом.

– Остановись! – в ужасе вскричал Бирон. – Клянусь честью, что отпущу тебя из своего дома! Клянусь! Я никогда в жизни не изменял своему честному слову.

– Ты говоришь правду? – Ольга помедлила и положила нож на стол. – Я верю твоему честному слову.

И в самом деле Бирон оставил ее в покое и пообещал возвратиться домой тотчас по приезде тетки. Однако по ее возвращении Бирон упросил обеих съездить с ним в Летний сад, где их и встретил Мурашев.

– Здравствуй, сестра, – робко сказал Мурашев, подойдя к Дарье Власьевне, которая внимательно рассматривала качавшегося льва.

– А, братец, Давно уж мы не виделись.

– Ты уж ныне пропадаешь по целым неделям и на деревянных конях всенародно разъезжаешь! – продолжал Мурашев вполголоса. – А с какой стати Ольга, осмелюсь спросить, ходит под руку с этим генералом?

– Она его невеста. Я тебе после все растолкую, братец.

– Невеста? Не спросясь отца, замуж выходит? Да я ее прокляну и тебя вместе с нею.

В это время адъютант взглянул на Мурашева, и он, понизив голос, продолжал:

– Не ты ли дочь мою сосватала?

– Его превосходительство сами изволили к ней присвататься.

Мурашев знал о поведении Карла Бирона и не мог не понять истинных его намерений. Негодование, гнев, отчаяние овладели его душой. В это время Ольга, увидев его, вырвала руку из-под руки Бирона и со слезами бросилась отцу на шею. Безмолвно прижал он дочь к груди своей.

– Не это ли отец моей невесты? – спросил Дарью Власьевну Бирон, торопливо приблизившись к ней.

– Точно так, ваше превосходительство.

– Представь меня ему, пожалуйста, мы еще не знакомы. Господа, извольте отойти отсюда подальше! – закричал он толпившемуся народу. – Здесь и так предостаточно места для гуляния.

Все поспешили исполнить приказание, но никто из многочисленной толпы не смел и слова сказать другому, чтобы третий, подслушав какую-нибудь догадку или суждение о брате герцога не закричал: слово и дело!

– Я давно, любезный, собирался к тебе приехать, – ласково сказал Бирон Мурашеву. – Ты, вероятно, уже знаешь о моих намерениях и, без сомнения, если дочь твоя будет согласна, не откажешься стать тестем моим? Возьми вот этот небольшой подарок.

Он вынул из кармана кошелек, набитый золотом, и подал Мурашеву.

– Благодарю от всего сердца за честь, ваше превосходительство! – отвечал Мурашев, едва держась на ногах. Кровь кипела в нем, в глазах у него темнело, он задыхался. – От подарка же позвольте отказаться!.. Осмелюсь заметить, что дочь рыботорговца не годится в невесты вашему превосходительству.

– Ну, какой вздор! Почему же не годится? Мое дело выбирать себе жену. Да что ты так побледнел? Может, нездоров? Гейер, отвези-ка домой этого почтенного человека.

Гейер взял под руку Мурашева и повел к карете.

Между тем Валериан, вырвавшись из рук Ханыкова, бросился к Бирону.

– Генерал, – сказал он прерывающимся голосом, – по какому праву вы отнимаете у меня невесту?

– Что это значит! – воскликнул Бирон. – Вы, сударь, забыли субординацию: мне и чести не отдаете! Я вас велю арест...

– Не говорите о чести, у вас нет ее. Велите арестовать меня, но я говорю и до самой казни буду повторять: вы низкий и подлый человек! Вы боитесь даже драться, я знаю, что вместо вас палач расправится со мной!

– Дерзкий мальчишка! – в бешенстве вскричал Бирон. – Я обрублю тебе уши в доказательство того, что я никогда не отказываюсь от дуэли. А уж потом тебя расстреляют за дерзость.

– Думаю, что будет наоборот, стоит вам только пригласить в секунданты своего брата.

– Я разрублю тебе голову!

– Тогда и поединка опасаться нечего, – отвечал Валериан, – рубите, вот моя голова.

Он снял шляпу, весь пылая от гнева.

– Выбирай оружие! – сказал Бирон, скрежеща зубами.

– На саблях!

– Хорошо. Деремся без секундантов.

– Согласен.

– Завтра в пять утра в Екатерингофе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.